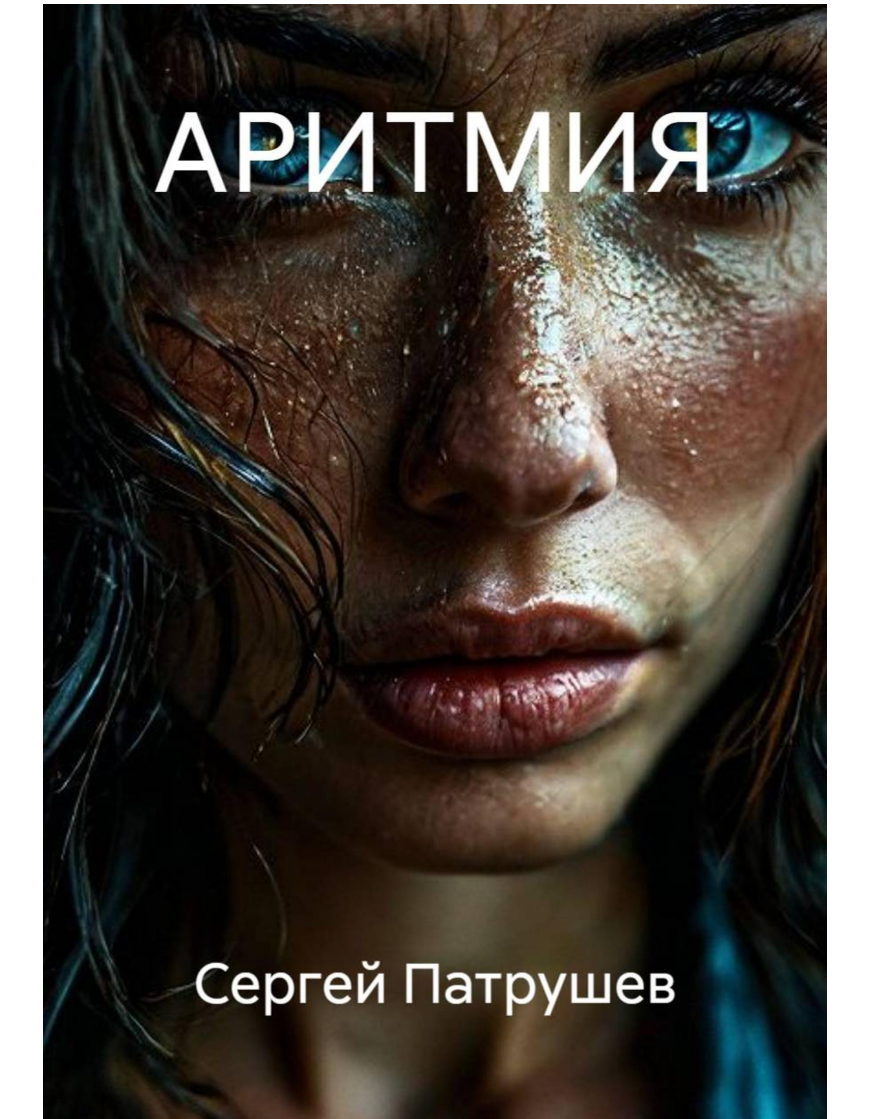


A close-up, high-contrast portrait of a woman's face. Her skin is wet, with visible water droplets and a glistening texture. Her eyes are a striking, vibrant blue, looking directly at the viewer. Her dark, wet hair is framing the left side of her face. The lighting is dramatic, highlighting the contours of her face and the texture of her skin.

АРИТМИЯ

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

АРИТМИЯ

<https://litres.ru/74227989>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он думал, что его жизнь — это уютная кухня, травяной чай и планы на отпуск с любимой женой. Но когда на её телефон пришло сообщение с угрозой, а в чайнике, который она только что сняла с плиты, оказался яд, мир Артёма дал трещину. За одну ночь он потерял всё: жену, память и уверенность в собственной невиновности. Его руки покрыты кровью, частный детектив, с которым тайно встречалась его супруга, избит до полусмерти, а полиция задаёт вопросы, на которые у него нет ответов. Потому что он не помнит.

Расследование, начатое как поиск пропавшей жены, оборачивается путешествием в лабиринт собственного прошлого. Кто он на самом деле — жертва, свидетель или тот, кого двадцать лет пытались стереть из реальности? Каждая находка — банковская ячейка, пистолет, старая фотография — приближает его к разгадке и одновременно отдаляет от человека, которым он себя считал.

«Аритмия» — психологический триллер о том, как шатко наше представление о себе. О любви, которая может оказаться заданием.

Содержание

ГЛАВА 1. «СИСТОЛА»

4

Конец ознакомительного фрагмента.

17

АРИТМИЯ

ГЛАВА 1. «СИСТОЛА»

Кровь, засыхая, меняет цвет. Это целая наука, целая хроматическая шкала распада, доступная лишь тем, кто имел несчастье наблюдать за этим процессом в реальном времени. Сначала она алая, яркая, почти праздничная в своей первозданной жизненной силе — жидкость, насыщенная гемоглобином, только что встретившаяся с кислородом и вступившая с ним в яростную, пенящуюся реакцию окисления. Такой она бывает лишь мгновение, краткий всплеск цвета, который мозг фиксирует как сигнал тревоги. Затем, по мере высыхания, она переходит в благородный рубиновый, густой, как церковное вино, разлитое по белой фаянсовой поверхности. Рубиновый сменяется бурым — цветом запекшейся корки, цветом старой ржавчины на брошенном в поле тракторе, цветом осенних листьев, упавших в грязь. А потом, в финале, она становится грязно-коричневой, похожей на кофейную гущу, которую забыли вытряхнуть из турки неделю назад. Именно на этой стадии кровь перестает быть уликой. Она становится просто грязью. Органикой, лишенной сакрального ужаса. Я знал это наверняка. Знал не из учебников по криминалистике и не из дешевых детективных

романов, которыми зачитывалась она по вечерам, свернувшись калачиком на диване. Я знал это, потому что смотрел на свои руки уже двадцать три минуты. Может, дольше. Может, целую вечность.

Время в этой ванной комнате схлопнулось в тугую спираль, потеряло свою линейную структуру, перестало быть рекой, текущей из прошлого в будущее. Оно стало болотом — вязким, стоячим, затягивающим в себя все события, все звуки, все мысли. Единственной точкой отсчета, единственным доказательством того, что мир все еще движется, оставались капли. Они методично, с монотонностью метронома, срывались с костяшек моих пальцев в белую фаянсовую раковину. Звук был глухим, шлепающим, каким-то неприлично влажным и чавкающим. Он совсем не походил на тот звонкий, чистый перестук, который мы слышим, когда моем руки после улицы, стряхивая с пальцев прозрачные капли воды. Эта кровь была густой, почти сиропообразной. Она не хотела расставаться с моей кожей, словно претендовала на нее, словно заключала со мной некий безмолвный, скрепленный железом пакт.

Я сидел на холодном бортике чугунной ванны в съемной квартире. Квартира была старого фонда, с высокими потолками, лепниной, которую не реставрировали со времен постройки дома, и вечно дрожащими стеклами в окнах, когда

мимо проезжал трамвай. Ванная комната была длинной, как пенал, выложенной кафелем цвета топленого молока. Светильник над зеркалом — три рожка с матовыми плафонами в форме тюльпанов — гудел чуть громче обычного, заливая помещение мертвенным, больничным светом. Этот свет был безжалостен. Он не скрывал ничего. Он вытаскивал наружу каждую морщинку, каждую расширенную пору, каждую каплю засохшей крови. Я поднял глаза и посмотрел в зеркало. Тот, кто смотрел на меня оттуда, был мне знаком, но будто собран из разрозненных деталей неопытным таксидермистом. У него была моя трехдневная щетина — рыжеватая, жесткая, пробивающаяся сединой на подбородке. У него был мой шрам над левой бровью — память о глупом падении с велосипеда в девятом классе, когда я пытался произвести впечатление на девчонку и влетел в открытый люк. У него были мои воспаленные от хронического недосыпа капилляры на белках, красные прожилки, расчертившие глазное яблоко, как карту метрополитена. Но выражение лица было чужим. Абсолютно, фундаментально чужим. Лицо человека, который заглянул куда-то глубоко внутрь себя, спустился в подвал собственной души и не нашел там ничего, кроме вязкой, холодной пустоты, пахнущей сырой землей и перегаром.

Я перевел взгляд ниже. Грудь. Рубашка. Когда-то она была голубой. Не просто голубой, а цвета летнего неба в пол-

день, цвета васильков во ржи, как любила говорить она, поправляя мне воротник. Теперь это было неважно. Вся семантика цвета была уничтожена. По диагонали, от воротника к животу, тянулся широкий рваный мазок, похожий на карту неизвестного континента, нарисованную сумасшедшим картографом. Бурая корка уже начала трескаться на сгибах ткани, обнажая более светлые, розоватые линии. Я потрогал рубашку пальцем. Ткань задубела, стала жесткой, как картон. Запах стоял тяжелый, железистый, с примесью чего-то соленого и животного. Он перебивал даже аромат мятного геля для душа, стоящего на полке, даже запах хлорки, которым несло из сливного отверстия.

Раковина была забита. Вода не уходила. Она стояла розовой лужей, в которой плавали мои собственные волосы, выдранные, судя по всему, с корнем во время какой-то неизвестной мне схватки. Несколько темных волосков прилипли к фаянсовому бортику, другие медленно кружились в водовороте, создаваемом падающими каплями. Я смутно, очень смутно, словно сквозь толщу мутной воды, помнил момент удара. Но ощущение хруста чужих хрящей под костяшками все еще жило в мышцах, отдавалось фантомной болью в запястье, пульсировало где-то в глубине костного мозга. Интересно, чья это кровь? Вопрос, от которого зависело все мое будущее, завис в воздухе, не найдя отклика. Я поднес ладонь ближе к лицу, разглядывая узор из порезов. Нет, не порезов.

Трещин. Кожа лопнула, как переспевший фрукт, как корка хлеба в печи, обнажив темно-красное, почти черное в тенях мясо. Края ран были неровными, рваными. Это были не ножевые ранения. Это были удары. Тупые, сильные, безжалостные удары обо что-то твердое. О стену? О лицо? Я сжал пальцы в кулак. Боль была тупой и далекой, словно рука принадлежала не мне, а этому парню из зеркала, этому чужому человеку с моим лицом. Трещины разошлись, и свежая, яркая, еще живая кровь, алая кровь первой стадии распада, смешалась со старой, бурой. Я смотрел на это, как замороженный, как ребенок смотрит на муравьев, суесящихся вокруг мертвого жука. В этом зрелище было что-то гипнотическое, что-то, что отключало все остальные чувства.

С улицы донесся вой сирены. Звук приближался, отражаясь эхом от панельных многоэтажек спального района, проникая сквозь щели в оконных рамах, заполняя собой все пространство. Война, подумал я. Первая, рефлекторная мысль. Нет, просто город. Просто обычная скорая или полиция, спешащая на чей-то вызов. Но звук резанул по нервам, напомнив, что я нахожусь в тонкостенной бетонной коробке, где каждый шорох слышен соседям, где каждый вскрик может стать началом конца. Я прислушался, затаив дыхание. В квартире было тихо. Так тихо, что я слышал биение собственного сердца — глухое, размеренное, как шаги человека, спускающегося в подвал. Только капала вода из неплотно за-

крытого крана, отбивая ритм стаккато, да гудел светильник, наполняя воздух монотонным жужжанием. Сирена взвыла в последний раз, достигнув крещендо, и захлебнулась где-то у соседнего двора. Пронесло. Не за мной. Пока не за мной. Это «пока» засело в мозгу, как заноза. Потому что если я ничего не вспомню, если я не пойму, что здесь произошло, следующий вызов будет по мою душу.

Я встал. Ноги затекли и слушались плохо. Пришлось опереться о стиральную машину — старую, еще советскую «Вятку» с потемневшим от времени пластиком, — оставив на белом корпусе еще один кровавый отпечаток. Прямо как в дешевых детективах, которые читала она. Отпечаток ладони. Пальцы-сардельки, линии жизни, судьбы, ума — все четко пропечаталось грязно-красным по белому. Я разглядывал этот отпечаток, как гадалка разглядывает линии на ладони клиента, пытаюсь вычитать в них будущее. Но будущего там не было. Только прошлое, которое я не мог вспомнить. «Откуда кровь, если мы просто пили чай?» — спросил я свое отражение. Вопрос повис в воздухе, впитался в кафельные стены и остался без ответа. Он эхом отозвался в моей голове, множась и искажаясь, пока не превратился в бессмысленный набор звуков. Я не мог вспомнить. Мой мозг, обычно цепкий и логичный, способный удерживать в памяти сотни цифр, дат, кредитных ставок и имен клиентов, сейчас напоминал испорченную киноплёнку с огромными черными дырами на

месте ключевых кадров. Целые отрезки времени были просто вырезаны, выжжены каленым железом, и в этих дырах не было ничего — ни изображения, ни звука, ни запаха. Только вакуум, наполненный этой липкой, засыхающей кровью.

Я попытался восстановить хронологию. Это было ошибкой. Память отозвалась острой вспышкой головной боли, которая пронзила висок, словно кто-то загнал туда длинную, тонкую иглу. Я зажмурился, сжал виски руками, смешивая кровь с потом, и попытался нырнуть в эту боль, пытаясь выудить из нее хоть какой-то образ. Пустота. Только ощущение падения, тошнотворный запах страха и чей-то голос. Голос, который я не мог идентифицировать. Мужской? Женский? Кто это был? Кому принадлежала кровь на моей рубашке? Я ударил кулаком по стиральной машине. Звук получился гулким, металлическим, отозвавшимся дрожью во всем теле. Бесполезно. Все бесполезно.

За шесть часов до этого я был почти счастлив.

Это «почти» — важнейшее уточнение, которое я осознаю только сейчас. Счастье вообще никогда не бывает полным, оно всегда с примесью, всегда с какой-то микроскопической трещинкой, которая ждет своего часа, чтобы разломить всю конструкцию пополам. Но в тот момент, ранним вечером, я был настолько близок к этому абсолюту, насколько вооб-

ще может быть близок человек, живущий в мегаполисе и работающий в банке. Солнце, клонящееся к закату, заливало кухню теплым апельсиновым сиропом. Этот свет был почти осязаем — густой, тягучий, наполненный пылинками, танцующими в лучах. Он дробился в гранях заварного чайника из чешского стекла, который мы купили прошлым летом на блошином рынке в Праге, рассыпался радужными зайчиками по белым, словно сахарная глазурь, стенам и путался в ее волосах.

Она сидела напротив, поджав под себя одну ногу — эту ее привычку я знал и любил, — и безуспешно пыталась задуать упрямую прядь, падающую на лицо. Прядь была тонкой, золотистой, выбившейся из небрежного пучка на затылке. Она дула на нее смешно, выпячивая нижнюю губу, и прядь взлетала на секунду, чтобы тут же упасть обратно. На ней был мой старый свитер с растянутым горлом — тот самый, оливковый, который я купил еще студентом в секонд-хенде и который пережил со мной три переезда, но так и не попал на помойку. Я ненавидел этот свитер. Он был колючим, бесформенным и пах чем-то неуловимо затхлым, несмотря на стирки. Но ей он нравился. Она говорила, что он «уютный» и что он «пахнет мной». И этого было достаточно, чтобы я терпел его присутствие в нашей жизни.

— Ты опять солишь, даже не попробовав, — сказала она,

пододвигая ко мне плетеную хлебницу. Голос у нее был мягким, обволакивающим, с легкой хрипотцой, которая появлялась после рабочего дня. — Это дурной тон, Артем. Уважай труд повара. Я два часа стояла у плиты, чтобы ты залил все хлоридом натрия и уничтожил букет вкуса.

— Это генетическая память, — ответил я, отламывая кусок бородинского хлеба, щедро посыпанного кориандром. Хлеб был свежим, еще теплым, из пекарни за углом. — Мои предки были уверены, что недосол на столе, а пересол на спине. Соль была валютой, стратегическим ресурсом. Без соли ты не законсервируешь мясо на зиму, а без мяса умрешь от цинги. Это базовый инстинкт, дорогая, не обижайся.

— Ну да, конечно. Твои предки-банкиры в третьем поколении только и делали, что спины пороли крепостным и засаливали бочки с капустой, — она улыбнулась. Улыбка у нее была удивительная: чуть асимметричная, правая сторона рта поднималась выше левой, но от этого еще более живая и настоящая. — Лучше скажи, как прошел твой день. Ты какой-то замученный.

Я пожал плечами, пережевывая хлеб, стараясь растянуть удовольствие. Говорить о работе не хотелось. Офис, бумаги, бесконечные согласования кредитных лимитов, дебетовые и кредитовые обороты, скрипящие кресла, запах кофе из ав-

томата, который вечно пахнет паленым пластиком — все это теряло смысл за порогом этой кухни. Работа была симулякр жизни, ритуалом, который я выполнял, чтобы добывать деньги. Но настоящая жизнь была здесь. Здесь, в запахе травяного чая с чабрецом и мятой, который она заваривала в своем чешском чайнике, в аромате ее духов — чего-то цитрусового, свежего, смешанного с запахом оливкового масла и лука, оставшегося от готовки, в этом апельсиновом свете, превращающем обычную хрущевскую кухню в чертог. Мы говорили об отпуске. Она хотела на море. Не на курорт с лежаками, зонтиками и аниматорами, а на дикий берег, туда, где волны разбиваются о скалы, где можно лежать тюленем на горячей гальке, закрыв глаза, и слушать только шум прибоя и крики чаек. Она говорила, что море — это единственное место, где она чувствует себя по-настоящему свободной, где можно никуда не спешить и ни о чем не думать. Я хотел в горы. Туда, где воздух тонок и прозрачен, где мысли становятся четкими, как лезвие бритвы, где каждый шаг требует усилия, но награждает видом, от которого захватывает дух. Мы спорили, но это был тот сладкий, уютный спор, который неизбежно заканчивается компромиссом. Например, море, но с возможностью выезда на скалы. Или горы, но с горным озером, где вода холодна и чиста. Это был спор о счастье, о том, каким оно должно быть на вкус и цвет, и сам этот спор уже был формой счастья.

Чайник на плите начал закипать. Сначала он тихо шипел, как змея, греющаяся на солнце, потом звук набрал высоту, переходя в пронзительный, вибрирующий свист. Он свистел как-то особенно, жалобно, надрывно, будто предчувствуя беду, или просто клапан забился накипью от нашей жесткой водопроводной воды. В этом свисте мне почудилось что-то злое, какая-то нота обреченности, но я отогнал эту мысль как глупую и мнительную. Я поморщился и хотел встать, но она опередила меня, грациозно соскользнув со стула.

— Сиди, сиди. Ты сегодня добытчик, а я хранительница очага. Мне полезно двигаться, а то твоя стряпня меня разорит на абонемент в спортзал, — она рассмеялась, и ее смех разлился по кухне, заполняя все углы.

Она сняла чайник с огня, и свист оборвался, оставив после себя легкий звон в ушах и ощущение внезапно наступившей, неестественной тишины. В этот момент наступившей паузы, когда звук еще висел в воздухе, но уже затихал, я услышал, как на тумбочке в коридоре завибрировал ее телефон. Это была даже не мелодия, а просто вибрация — глухое, настойчивое жужжание, которое распространялось по деревянной поверхности тумбочки. Смех, доносившийся из кухни, резко стих. Она замерла с чайником в руке, глядя в проем двери, ведущей в коридор. Ее спина напряглась. Я видел, как под тканью свитера проступили лопатки.

— Кто-то настойчивый, — сказал я, отпивая из кружки остатки остывшего чая. На дне кружки плавал лепесток чабреца. — Может, начальник? Скажи, что ты в запое и не можешь выйти на сверхурочные.

Она ничего не ответила. Это было первое отличие от нормы. Обычно она бы подхватила шутку, начала бы развивать тему, придумывать нелепые отмазки для воображаемого начальника. Но сейчас она молчала. Просто молчала и смотрела в коридор, словно там, в полумраке прихожей, стоял кто-то, видимый только ей. Она поставила чайник обратно на подставку, как-то неловко, звякнув крышкой — та соскочила и покатила по столешнице. Я подхватил крышку, ожидая благодарности или хотя бы взгляда, но она не обернулась. Я не придал этому значения тогда. Подумаешь, сообщение. Может, спам. Может, мама пишет из своего загородного дома, жалуясь на здоровье и цены на картошку. Может, подруга зовет в кафе. Но она почему-то не вернулась за стол сразу. Встала у окна, спиной ко мне, обхватив себя руками за плечи, хотя в кухне было тепло, даже жарко от плиты. За окном догорал закат, окрашивая ее силуэт в лиловые тона. Я видел, как напряглись ее плечи под мягкой тканью свитера. Она была похожа на статую, на изваяние, застывшее в ожидании удара.

— Что-то случилось? — спросил я, все еще жуя. Вкус хлеба вдруг стал пресным, картонным. Я перестал чувствовать кориандр и тмин, только сухую, волокнистую массу, которую трудно проглотить. В воздухе что-то изменилось. Едва уловимая молекула тревоги просочилась сквозь закрытые окна и смешалась с паром от чайника. Это была не тревога за здоровье мамы и не досада от рабочего сообщения. Это был страх. Я почувствовал его кожей, спинным мозгом, тем древним отделом нервной системы, который отвечает за распознавание хищников в кустах. Пахло страхом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.